

Римские каникулы

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Повесть

Моя записная книжка перенаселена, как послевоенная коммуналка. Некоторые страницы вылетели. На букву «К» попала вода, размыла все буквы и цифры. Книжку пора переписать, а заодно провести ревизию прошлого: кого-то взять в дальнейшую жизнь, а кого-то захоронить в глубинах памяти и потом когда-нибудь найти в раскопках.

Я купила новую записную книжку и в один прекрасный день села переписывать. Записная книжка — это шифр жизни, закодированный в именах и телефонах. В буквах и цифрах.

Расставаться со старой книжкой жаль. Но надо. Потому что на этом настаивает ВРЕМЯ, которое вяжет свой сюжет.

Я открываю первую страницу. «А». Александрова Мара...

Полное ее имя было Марла. Люди за свои имена не отвечают. Они их получают. Ее беременная мамаша гуляла по зоопарку и вычитала «Марла» на клетке с тигрицей. Тигрица была молодая, гибкая, еще не замученная неволей. Ей шла странная непостижимая кличка Марла. Романтичная мамаша решила назвать так будущего ребенка. Если родится мальчик, назовется Марлен. Но родилась девочка. Неудобное и неорганичное для русского слуха «Л» вылетело из имени

в первые дни, и начиная с яслей она уже была Марой. Марлой Петровной осталась только в паспорте.

Папашу Петра убили на третьем году войны. Она с матерью жила тогда в эвакуации, в сибирской деревне. Из всей эвакуации запомнился большой бежевый зад лошади за окном. Это к матери на лошади приезжал милиционер, а она ему вышивала рубашку. Еще помнила рыжего врача, мать и ему тоже вышивала рубашку. Мара все время болела, не одним, так другим. Врач приходил и лечил. Мать склонялась над Марой и просила:

— Развяжи мне руки.

Мара не понимала, чего она хочет. Руки и так были развязаны и плавали по воздуху во все стороны.

Потом война кончилась. Мара и мама вернулись в Ленинград. Из того времени запомнились пленные немцы, они строили баню. Дети подходили к ним, молча смотрели. У немцев были человеческие лица. Люди как люди. Один, круглолицый в круглых очках, все время плакал. Мара принесла ему хлеба и банку крабов. Тогда, после войны, эти банки выселись на прилавке, как пирамиды. Сейчас все исчезло. Куда? Может быть, крабы уползли к другим берегам? Но речь не про сейчас, а про тогда. Тогда Мара ходила в школу, пела в школьном хоре:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Мать была занята своей жизнью. Ей исполнилось тридцать лет. В этом возрасте женщине нужен муж, и не какой-нибудь, а любимый. Его нужно найти, а поиск — дело серьезное, забирающее человека целиком.

Мара была предоставлена сама себе. Однажды стояла в очереди за билетами в кино. Не хватило пяти копеек. Билет не дали. А кино уже начиналось. Мара бежала по улицам к дому и громко рыдала. Прохожие останавливались, потрясенные ее отчаянием.

Случались и радости. Так, однажды в пионерском лагере ее выбрали членом совета дружины. Она носила на рукаве нашивку: две полоски, а сверху звездочка. Большое начальство. У нее даже завелись свои подхалимы. Она впервые познала вкус власти. Слаще этого нет ничего.

Дома не переводились крысы. Мать отлавливала их в крысоловку, а потом топила в ведре с водой. Мара запомнила крысиные лапки с пятью промытыми розовыми пальчиками, на которых крыса карабкалась по клетке вверх, спасаясь от неумолимо подступавшей воды. У матери не хватало ума освобождать дочь от этого зрелища.

Училась Мара на крепкое «три», но дружила исключительно с отличниками. Приближение к избранным кидало отсвет избранности и на нее. Так удовлетворялся ее комплекс власти. Но надо сказать, что и отличницы охотно дружили с Марой и даже устраивали друг другу сцены ревности за право владеть ее душой.

Весной пятьдесят третьего года Сталин умер. По радио с утра до вечера играли замечательную траурную музыку. Время было хорошее, потому что в школе почти не учились. Приходили и валяли дурака. Учителя плакали по-настоящему. Мара собралась в едином порыве с Риткой Носиковой поехать в Москву на похороны вождя, но мать не дала денег. И вообще не пустила. Мара помнит, как в день похорон они с Риткой Носиковой вбежали в трамвай. Люди в вагоне сидели подавленные, самоуглубленные, как будто

собрались вокруг невидимого гроба. А Ритка и Мара ели соленый помидор и прыскали в кулак. Когда нельзя смеяться, всегда бывает особенно смешно.

Люди смотрели с мрачным недоумением и не понимали, как можно в такой день есть и смеяться. А девочки, в свою очередь, не понимали, как можно в столь сверкающий манящий весенний день быть такими усерзненными.

Время в этом возрасте тянется долго-долго, а проходит быстро. Мара росла, росла и выросла. И на вечере в Доме офицеров познакомилась с журналистом Женькой Смолиным. Он пригласил ее на вальс. Кружились по залу. Платье развевалось. Центробежная сила оттягивала их друг от друга, но они крепко держались молодыми руками и смотрели глаза в глаза, не отрываясь. С ума можно было сойти.

В восемнадцать лет она вышла за него замуж.

Это был стремительный брак, брак-экспресс. Они расписались в загсе и тут же разругались, а потом продолжали ругаться утром, днем, вечером и ночью... Ругались постоянно, а потом с той же страстью мирились. Их жизнь состояла из ссор и объятий. Шла непрерывная борьба за власть. Мара оказалась беременной, непонятно от чего: от ссор или объятий. К пяти месяцам живот вырос, а потом вдруг стал как будто уменьшаться. Оказывается, существует такое патологическое течение беременности, когда плод, дожив до определенного срока, получает обратное развитие, уменьшается и погибает. Охраняя мать от заражения, природа известкует плод. Он рождается через девять месяцев от начала беременности, как бы в срок, но крошечный и мертвый и в собственном саркофаге. Чего только не бывает на свете. И надо же было, чтобы это случилось с Марой. Врачи стали искать причину, но Мара знала:

это их любовь приняла обратное развитие и, не дозрев до конца, стала деградировать, пока не умерла.

После больницы Мара поехала на юг, чтобы войти в соленое упругое море, вымыть из себя прошлую жизнь, а потом лечь на берегу и закрыть глаза. И чтобы не трогали. И не надо ничего.

В этом состоянии к ней подошел и стал безмолвно служить тихий, бессловесный Дима Палатников, она называла его Димычкой. Димычка хронически молчал, но все понимал, как собака. И как от собаки, от него веяло преданностью и теплом. Молчать можно по двум причинам: от большого ума и от беспросветной глупости. Мара пыталась разобраться в Димычкином случае. Иногда он что-то произносил: готовую мысль или наблюдение. Это вовсе не было глупостью, хотя можно было бы обойтись. Когда Димычке что-то не нравилось, он закрывал глаза: не вижу, не слышу. Видимо, это осталось у него с детства. Потом он их открывал, но от этого в лице ничего не менялось. Что с глазами, что без глаз. Они были невыразительные, никак не отражали работу ума. Такой вот — безглазый и бессловесный, он единственный из всех совпадал с ее издерганными нервами, поруганным телом, которое, как выяснилось, весь последний месяц служило могилой для ее собственного ребенка.

Мара и Димычка вместе вернулись в Ленинград. Димычка — человек традиционный. Раз погулял — надо жениться. Они поженились, вступили в кооператив и купили машину.

Димычка был врач: ухо, горло, нос, — что с него возьмешь. Основной материально несущей балкой явилась Мара. В ней открылся талант: она шила и брала за шитье большие деньги. Цена явно не соответствовала выпускаемой продукции и превосходила здоровый

смысл. Однако все строилось на добровольных началах: не хочешь, не плати. А если платишь — значит, дурак. Мара брала деньги за глупость.

Дураков во все времена хватает, деньги текли рекой, однако непристужно. Скажи кому-нибудь «портниха» — засмеют, да и донесут. Мара просила своих заказчиц не называть ее квартиры лифтерше, сидящей внизу, сверлящей всех входящих урочливым глазом. Заказчицы называли соседнюю, пятидесятую квартиру. А Мара сидела в сорок девятой, как подпольщица, строчила и вздрагивала от каждого звонка в дверь. В шестидесятые годы были модны космонавты. Их было мало, все на слуху, как кинозвезды. А портниха — что-то архаичное, несовременное, вроде чеховской белошвейки.

Сегодня, в конце восьмидесятых годов, многое изменилось. Космонавтов развелось — всех не упомнишь. А талантливый модельер гремит, как кинозвезда. На глазах меняется понятие престижа. Но это теперь, а тогда...

Устав вздрагивать и унижаться, а заодно скопив движимое и недвижимое, Мара забросила шитье и пошла работать на телевидение. Вот уж где человек обезличивается, как в метро. Однако на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» — можно ответить: «Ассистент режиссера».

Это тебе не портниха. Одно слово «ассистент» чего стоит. Хотя ассистент на телевидении что-то вроде официанта: подай, принеси, поди вон.

В этот период жизни я познакомилась с Марой, именно тогда в моей записной книжке было воздвигнуто ее имя.

Познакомились мы под Ленинградом, в Комарово. Я и муж поехали отдыхать в Дом творчества по путе-

ке ВТО. Был не сезон, что называется, — неактивный период. В доме пустовали места, и ВТО продавало их нетворческими профессиям, в том числе и нам.

Мы с мужем побрели гулять. На расстоянии полукилометра от корпуса ко мне подошла молодая женщина в дорогой шубе до пят, выяснила, отдыхаем ли мы здесь и если да, то нельзя ли посмотреть номер, как он выглядит и стоит ли сюда заезжать. Мне не хотелось возвращаться, но сказать «нет» было невозможно, потому что на ней была дорогая шуба, а на мне синтетическое барахло и еще потому, что она давила. Как-то само собой разумелось, что я должна подчиниться. Я покорно сказала «пожалуйста» и повела незнакомку в свой триста пятнадцатый номер. Там она все оглядела, включая шкафы, открывая их бесцеремонно. Одновременно с этим представилась: ее зовут Мара, а мужа Димычка.

Димычка безмолвно переживал с никаким выражением, время от времени подавал голос:

— Мара, пошли...

Мы отправились гулять. Димычка ходил рядом, как бы ни при чем, но от него веяло покоем и порядком. Они гармонично смотрелись в паре, как в клоунском альянсе: комик и резонер. Димычка молчал, а Мара постоянно работала: парила, хохотала, блестя нарядными белыми зубами, золотисто-рыжими волосами, самоутверждалась, утверждала себя, свою шубу, свою суть, просто вырабатывала в космос бесполезную энергию. Я догадывалась: она пристала к нам на тропе из-за скуки. Ей было скучно с одним только Димычкой, был нужен зритель. Этим зрителем в данный момент оказалась я — жалкая геологиня, живущая на зарплату, обычная, серийная, тринадцать на дюжину.

Вечером, после ужина, они уехали. Мара обещала мне шить юбку, а взамен потребовала дружбу. Я согласилась. Была в ней какая-то магнетическая власть: не хочешь, не делай. Как семечки: противно, а оторваться не можешь.

Когда они уехали, я сказала:

— В гости звали.

— Это без меня, — коротко отрезал муж.

Мужа она отгалкивала, а меня притягивала. В ней была та мера «пре» — превосходства, преступления каких-то норм, в плену которых я существовала, опутанная «неудобно» и «нельзя». Я была элементарна и пресна, как еврейская маца, которую хорошо есть с чем-то острым. Этим острым была для меня Мара.

Влекомая юбкой, обещанной дружбой и потребностью «пре», я созвонилась с Марой и поехала к ней в Ленинград.

Она открыла мне дверь. Я вздрогнула, как будто в меня плеснули холодной водой. Мара была совершенно голая. Ее груди глядели безбожно, как купола без крестов. Я ждала, что она смутится, замечется в поисках халата, но Мара стояла спокойно и даже надменно, как в вечернем платье.

— Ты что это голая? — растерялась я.

— Ну и что, — удивилась Мара. — Тело. У тебя другое, что ли?

Я подумала, что в общих чертах то же самое. Смирилась. Шагнула в дом.

Мара пошла в глубь квартиры, унося в перспективу свой голый зад.

— Ты моешься? — догадалась я.

— Я принимаю воздушные ванны. Кожа должна дышать.

Мара принимала воздушные ванны, и то обстоятельство, что пришел посторонний человек, ничего не меняло.

Мара села за машинку и стала строчить мне юбку. Подбородок она подвязала жесткой тряпкой. Так подвязывают челюсть у покойников.

— А это зачем? — спросила я.

— Чтобы второй подбородок не набегал. Голова же вниз.

Мара за сорок минут справилась с работой, кинула мне юбку, назвала цену. Цена оказалась на десять рублей выше условленной. Так не делают. Мне стало стыдно за нее, я смутилась и мелко закивала головой — дескать, все в порядке. Расплатившись, я поняла, что на обратную дорогу хватит, а на белье в вагоне нет. Проводник, наверное, удивится.

— Молнию сама вошьешь, — сказала Мара. — У меня сейчас нет черной.

Значит, она взяла с меня лишнюю десятку за то, что не вшила молнию.

Сеанс воздушных ванн окончился. Мара сняла с лица тряпку, надела японский халат с драконами. Халат был из тончайшего шелка, серебристо-серый, перламутровый.

— Ты сама себе сшила? — поразилась я.

— Да ты что, это настоящее кимоно, — оскорбилась Мара. — Фирма.

Я поняла: шьет она другим, а на эти деньги покупает себе «фирму».

Освободив челюсть, Мара получила возможность есть и разговаривать. Она сварила кофе и стала рассказывать о своих соседях из пятидесятой квартиры — Саше и Соше. Саша — это Александр, а Соша — Софья. Соша — маленькая, бледненькая, обесцвеченная,

как будто ее вытащили из перекиси водорода. Но что-то есть. Хочется задержаться глазами, всмотреться. А если начать всматриваться, то открываешь и открываешь... В неярких северных женщинах, как в северных цветах, гораздо больше прелести, чем в откровенно роскошных южных розах. Так ударит по глазам — стой и качайся. Долго не прстоишь. Надоест. А в незабудку всматриваешься, втягиваешься... Однако дело не в северных цветах и не в Соше. Дело в том, что Мара влюбилась в Сашу и ей требовалось кому-то рассказать, иначе душа перегружена, нечем дышать.

Этим «кем-то» Мара назначила меня. Я человек не опасный, из другого города, случайна, как шофер такси. Можно исповедоваться, потом выйти и забыть.

Вместо того чтобы вовремя попрощаться и уйти, я, как бобик, просидела до двух часов ночи. А родной муж в это время стоял на станции Комарово во мраке и холоде, встречал поезда и не знал, что думать.

Ночь мы положили на выяснение отношений. День — на досыпание. Из отдыха вылетели сутки. И все из-за чего? Из-за Саши и Соши. А точнее, из-за Мары. Позднее я установила закономерность: где Мара — там для меня яма. Если она звонит, то в тот момент, когда я мою голову. Я бегу к телефону, объясняю, что не могу говорить, но почему-то разговариваю, шампунь течет в глаза, вода по спине, кончается тем, что я простужаюсь и заболеваю. А если звонок раздается в нормальных условиях и я, завершив разговор с Марой, благополучно кладу трубку, то, отходя от аппарата, почему-то спотыкаюсь о телефонный шнур, падаю, разбиваю колено, а заодно и аппарат. Оказываюсь охромевшей и отрезанной от всего мира. Как будто Господь трясет пальцем перед моим носом и говорит: не связывайся.

Период в Комарово закончился тем, что мы с мужем вернулись в Москву на пыльных матрасах без простыней, зато с юбкой без молнии, с осадком ссоры и испорченного отдыха.

Мара осталась в Ленинграде. Работала на телевидении, подрабатывала дома на машинке. Вернее, наоборот. На швейной машинке она работала, а на телевидении подрабатывала. Но и дома, и на работе, днем и ночью, она бессменно думала о Саше. Димычка не старше Саши, но все равно старей. Он и в три года был пожилым человеком. В альбоме есть его фотокарточка: трехлетний, со свисающими щеками, важным выражением лица — как у зубного врача с солидной практикой. А Саша и в сорок лет — трехлетний, беспомощный, как гений, все в нем кричит: люби меня... Какая счастливая Соша...

Димычка ни с того ни с сего ударился в знахарство, отстаивал мочу в банках: новый метод лечения — помещать в организм его собственные отходы. Мару тошнило от аммиачных паров. А рядом за стенкой — такой чистый после бассейна, такой духовный после симфонии Калининкова, такой чужой, как инопланетянин... Все лучшее в жизни проходило мимо Мары. Ей оставались телевизионная мельтешня, капризные заказчицы и моча в трехлитровых банках.

Однажды Мара возвращалась домой. Ее подманила лифтерша, та самая, с урочливым глазом, и по большому секрету сообщила, что из пятидесятой квартиры жена ушла к другому. Этот другой приезжал днем на машине «жигули» желтого цвета, и они вынесли белье и одежду в тюках, а из мебели — кресло-качалку. Новый мужчина, в смысле хахаль, из себя симпатичный, черненький и с усами. Очень модный. На летних ботинках написаны буквы, такие же буквы на куртке.

— Может быть, он сам их пишет, — предположила Мара, чтобы отвлечь лифтершу от своего изменившегося лица.

Вечером после концерта в черном костюме с бабочкой пришел Саша и спросил: когда надо мыть картошку — до того, как почистить, или после. Мара сказала, что можно два раза — и до и после. Саша стоял и не уходил. Мара пригласила его пройти. Она сама поджарила ему картошку, а Саша в это время сидел возле Димычки, и они оба молчали. Димычка вообще был неразговорчивым человеком, а Саше не хотелось ни с кем разговаривать и страшно было оставаться одному. Ему именно так и хотелось: с кем-то помолчать, и не с кем попало, а с живым, наполненным смыслом человеком.

Мара поджарила картошку в кипящем масле, как в ресторане. Мяса не было, она поджарила сыр сулугуни, обмакнув его предварительно в яйцо и муку. Накормила мужчин. Саша впервые в жизни ел горячий сыр. Он ел и плакал, но слезы не вытекали из глаз, а копились в сердце. Мара любила Сашу, поэтому ее сердце становилось тяжелым от Сашиных слез. Она молчала.

Это было в одиннадцать вечера. А в четыре утра Мара выскользнула из широкой супружеской постели от спящего и сопящего Димычки, сунула ноги в тапки, надела халат с драконами, вышла на лестничную площадку и позвонила Саше.

Тотчас раздались шаги — Саша не спал. Тотчас растворилась дверь — Саша не запирался. Он ждал Сошу. Он был уверен: она передумает и вернется. Ей нужна была встряска, чтобы все встало на свои места. И теперь все на местах. Соша вернулась и звонит в дверь.

Он ее простил. Он не скажет ни одного слова упрека, а просто встанет на колени. Черт с ним, с двадцатым веком. Черт с ним, с мужским самолюбием. Самолюбие — это любить себя. А он любит ее. Сошу.

Саша открыл дверь. На пороге стояла Мара. Соседка. Чужая женщина, при этом глубоко ему несимпатичная. Саша не переносил ее лица, как будто сделанного из мужского, ее категоричности. Не женщина, а фельдфебель. И ее смеха тоже не переносил. Она кудахтала, как курица, которая снесла яйцо и оповещала об этом всю окрестность.

Мара увидела, как по Сашину лицу прошла стрелка всех его чувств: от бешеного счастья в сто градусов до недоумения, дальше вниз — до нуля и ниже нуля — до минуса. Маре стало все ясно.

— Ты извини, — виновато попросила она. — Но я испугалась. Мне показалось, что ты хочешь выкинуться из окна, чушь какая-то. Ты извини, конечно...

Человек думает о человеке. Не спит. Прибегает. Тревожится. Значит, не так уж он, Саша, одинок на этом свете. Пусть один человек. Пусть даже ни за чем не нужный. И то спасибо.

— Проходи, — пригласил Саша.

— Поздно уже, — слабо возразила Мара.

— Скорее рано, — уточнил Саша и пошел варить кофе.

Что еще делать с гостьей, явившейся в четыре утра.

Мара села за стол. Смотрела в Сашину спину и чувствовала себя виноватой. В чем? В том, что она его любит, а он ее нет. Она только что прочитала это на Сашинем лице. Чем она хуже Соши, этой бесцветной моли, предательницы. Вот этим и хуже. Мужчин надо мучить, а не дребезжать перед ними хвостом. Мара прислушивалась к себе и не узнавала. В принципе она

была замыслена и выполнена природой как потребительница. Она готова была потратить все, что движется и не движется, затолкать в себя через все щели: глаза, уши, рот и так далее. А здесь, с этим человеком — наоборот, хотелось всем делиться: оторвать от себя последний кусок, снять последнюю рубашку. Так просто, задаром подарить душу и тело, только бы взял. Только бы пригодилось. Оказывается, в ней, в Маре, скопилось так много неизрасходованных слов, чувств, нежности, ума, энергии — намело целый плодородный слой. Упадет зерно в благодатную почву — и сразу, как в мультфильме, взрастет волшебный куст любви.

Первый муж Женька Смолин — тоже потребитель. Его главный вопрос был: «А почему я должен?» Он считал, что никому ничего не должен, все должны ему. А Мара считала, что все должны ей. Пошел эгоизм на эгоизм. Они ругались до крови, и в результате два гроба: души и плоти. На Димычке она отдыхала от прежней опустошительной войны. Но это была не любовь, а выживание. Самосохранение. А любовь — вот она. И вот она — вспаханная душа. Но сеятель Саша берег свои зерна для другого поля.

Маре стало зябко. Захотелось пожаловаться. Но кому? Жаловаться надо заинтересованному в тебе человеку. Например, матери. Но мать забыла, как страдала сама. Теперь у нее на все случаи жизни — насмешка. Димычка? Но что она ему скажет? Что любит соседа Сашу, а с ним живет из страха одиночества?

Мара поникла и перестала быть похожей на фельдфебеля. Саша разлил кофе по чашкам. Сел рядом. Положил ей голову на плечо и сказал:

— Мара, у тебя есть хороший врач? Покажи меня врачу.

— А что с тобой?